

Иван Гончаров

ОБРЫВ



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-44
Г 65

Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Виктории Манацковой
Иллюстрации Петра Пинкисевича

ISBN 978-5-389-27776-2

© П. Н. Пинкисевич (наследники), 2025
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Два господина сидели в небрежно убранной квартире в Петербурге, на одной из больших улиц. Одному было около тридцати пяти, а другому около сорока пяти лет. Первый был Борис Павлович Райский, второй — Иван Иванович Аянов.

У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная физиономия. С первого взгляда он казался моложе своих лет: большой белый лоб блистал свежестью, глаза менялись, то загорались мыслию, чувством, веселостью, то задумывались мечтательно и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрели они зрело, устало, скучно и обличали возраст своего хозяина. Около глаз собирались даже три легкие морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта. Гладкие черные волосы падали на затылок и на уши, а в висках серебрилось несколько белых волос. Щеки, так же как и лоб, около глаз и рта сохранили еще молодые цвета, но у висков и около подбородка цвет был изжелта-смугловатый.

Вообще легко можно было угадать по лицу ту пору жизни, когда совершилась уже борьба молодости со зрелостью, когда человек перешел на вторую половину жизни, когда каждый прожитой опыт, чувство, болезнь оставляют след. Только рот его сохранял, в неуловимой игре тонких губ и в улыбке, молодое, свежее, иногда почти детское выражение.

Райский одет был в домашнее серенькое пальто, сидел с ногами на диване.

Иван Иванович был, напротив, в черном фраке. Белые перчатки и шляпа лежали около него на столе. У него лицо отличалось спокойствием или, скорее, равнодушным ожиданием ко всему, что может около него происходить.

Смышленный взгляд, неглупые губы, смугло-желтоватый цвет лица, красиво подстриженные, с сильной проседью, волосы на голове и бакенбардах, умеренные движения, сдержанная речь и безукоризненный костюм — вот его наружный портрет.

На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и понимание других, выглядывавшие из глаз. «Пожил человек, знает жизнь и людей», — скажет о нем наблюдатель, и если не отнесет его к разряду особенных, высших натур, то еще менее к разряду натур наивных.

Это был представитель большинства уроженцев универсального Петербурга и вместе то, что называют светским человеком. Он принадлежал Петербургу и свету, и его трудно было бы представить себе где-нибудь в другом городе, кроме Петербурга, и в другой сфере, кроме света, то есть известного высшего слоя петербургского населения, хотя у него есть и служба, и свои дела, но его чаще всего встречаешь в большей части гостиных, утром — с визитами, на обедах, на вечерах: на последних всегда за картами. Он — так себе: ни характер, ни бесхарактерность, ни знание, ни невежество, ни убеждение, ни скептицизм.

Незнание или отсутствие убеждения облечено у него в форму какого-то легкого, поверхностного всеотрицания: он относился ко всему небрежно, ни перед чем искренне не склоняясь, ничему глубоко не веря и ни к чему особенно не пристращаясь. Немного насмешлив, скепичен, равнодушен и ровен в сношениях со всеми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой, но и не преследуя никого настойчивой враждой.

Он родился, учился, вырос и дожил до старости в Петербурге, не выезжая далее Лахты и Ораниенбаума с одной, Токсова и Средней Рогатки с другой стороны. От этого в нем отражались, как солнце в капле, весь петербургский мир, вся петербургская практичность, нравы, тон, природа, служба — эта вторая петербургская природа, и более ничего.

На всякую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никаких понятий, кроме тех, какие дают свои и иностранные газеты. Петербургские страсти, петербургский взгляд, петербургский годовой обиход пороков и добродетелей, мыслей, дел, политики и даже, пожалуй, поэзии — вот где вращалась жизнь его, и он не порывался из этого круга, находя в нем полное до роскоши удовлетворение своей натуре.

Он равнодушно смотрел сорок лет сряду, как с каждой весной отплывали за границу битком набитые пароходы, уезжали внутрь России дилижансы, впоследствии вагоны, — как двигались толпы людей «с наивным настроением» дышать другим воздухом, освежаться, искать впечатлений и развлечений.

Никогда не чувствовал он подобной потребности, да и в других не признавал ее, а глядел на них, на этих других, покойно, равнодушно, с весьма приличным выражением в лице и взглядом, говорившим: «Пусть-де их себе, а я не поеду».

Он говорил просто, свободно переходя от предмета к предмету, всегда знал обо всем, что делается в мире, в свете и в городе; следил за подробностями войны, если была война, узнавал равнодушно о перемене английского или французского министерства, читал последнюю речь в парламенте и во французской палате депутатов, всегда знал о новой пьесе и о том, кого зарезали ночью на Выборгской стороне. Знал генеалогию, состояние дел и имений и скандальную хронику каждого большого дома столицы; знал всякую минуту, что делается в администрации, о переменах, повышении, наградах, — знал и сплетни городские: словом, знал хорошо свой мир.

Утро уходило у него на мыканье по свету, то есть по гостиным, отчасти на дела и службу, — вечер нередко он начинал спектаклем, а кончал всегда картами в Английском клубе или у знакомых, а знакомы ему были все.

В карты играл он без ошибки и имел репутацию приятного игрока, потому что был снисходителен к ошибкам других, никогда не сердился, а глядел на ошибку с таким же приличием, как на отличный ход. Потом, он играл и по большой, и по маленькой, и с крупными игроками, и с капризными дамами.

Строевую службу он прошел хорошо, протерши лямку около пятнадцати лет в канцеляриях, в должностях исполнителя чужих проектов. Он тонко угадывал мысль начальника, разделял его взгляд на дело и ловко излагал на бумаге разные проекты. Менялся начальник, а с ним и взгляд и проект — Аянов работал так же умно и ловко и с новым начальником, над новым проектом, — и докладные записки его нравились всем министрам, при которых он служил.

Теперь он состоял при одном из них по особым поручениям. По утрам являлся к нему в кабинет, потом к жене его в гостиную

и действительно исполнял некоторые ее поручения, а по вечерам в положенные дни непременно составлял партию, с кем попросят. У него был довольно крупный чин и оклад — и никакого дела.

Если позволено проникать в чужую душу, то в душе Ивана Ивановича не было никакого мрака, никаких тайн, ничего загадочного впереди, и сами макбетовские ведьмы затруднились бы оболстить его каким-нибудь более блестящим жребием или отнять у него тот, к которому он шествовал так сознательно и достойно. Повыситься из статских в действительные статские, а под конец, за долговременную и полезную службу и «неусыпные труды», как по службе, так и в картах, — в тайные советники и бросить якорь в порте, в какой-нибудь нетленной комиссии или в комитете, с сохранением окладов, — а там, волнуясь себе человеческий океан, меняйся век, лети в пучину судьба народов, царств, — все пролетит мимо его, пока апоплексический или другой удар не остановит течение его жизни.

Аянов был женат, овдовел и имел двенадцати лет дочь, воспитывавшуюся за казенный счет в институте, а он, устроив свои делюшки, вел покойную и беззаботную жизнь старого холостяка.

Одно только нарушало его спокойствие — это геморрой от сидячей жизни; в перспективе представлялось для него тревожимое событие — прервать на время эту жизнь и побывать где-нибудь на водах. Так грозил ему доктор.

— Не пора ли одеваться: четверть пятого! — сказал Аянов.

— Да, пора, — отвечал Райский, очнувшись от задумчивости.

— О чем ты задумался? — спросил Аянов.

— О ком? — поправил Райский. — Да о ней все... о Софье...

— Опять! Ну! — заметил Аянов.

Райский стал одеваться.

— Ты не скучаешь, что я тебя туда таскаю? — спросил Райский.

— Нимало: не все равно, где играть, что там, что у Ивлевых? Оно, правда, совестно немного обыгрывать старух: Анна Васильевна бьет карты своего партнера слепа, а Надежда Васильевна вслух говорит, с чего пойдет.

— Не беспокойся, не оберешь по пяти копеек. У обеих старух до шестидесяти тысяч дохода.

— Знаю, и это все Софье Николаевне достанется?

— Ей: она родная племянница. Да когда еще достанется! Они скупы, переживут ее.

— У отца ведь, кажется, немного...

— Нет, все спустил.

— Да куда он тратит? В карты почти не играет.

— Как куда? А женщины? А эта беготня, *petits soupers*¹, весь этот *train*?² Зимой в пять тысяч сервиз подарил на вечер *Argence*, а она его-то и забыла пригласить к ужину...

— Да, да, слышал. За что? Что он у ней там делает?...

Оба засмеялись.

— От мужа у Софьи Николаевны, кажется, тоже немного осталось!

— Нет, тысяч семь дохода; это ее карманные деньги. А то все от теток. Но пора! — сказал Райский. — Мне хочется до обеда еще по Невскому пройтись.

Аянов и Райский пошли по улице, кивая, раскланиваясь и пожимая руки направо и налево.

— Долго ты нынче просидишь у Беловодовой?

— Пока не выгонят — как обыкновенно. А что, скучно?

— Нет, я думал, поспею ли я к Ивлевым? Мне скучно не бывает.

— Счастливый человек! — с завистью сказал Райский. — Если б не было на свете скуки! Может ли быть лютее бича?

— Молчи, пожалуйста! — с суеверным страхом остановил его Аянов, — еще накличешь что-нибудь! А у меня один геморрой чего-нибудь да стоит! Доктора только и знают, что вон отсюда шлют: далась им эта сидячая жизнь — все беды в ней видят! Да воздух еще: чего лучше этого воздуха? — Он с удовольствием нюхнул воздух. — Я теперь выбрал добрее эскулапа: тот хочет летом кислым молоком лечить меня; у меня ведь закрытый... ты знаешь? Так ты от скуки ходишь к своей кухне?

— Какой вопрос: разумеется! Разве ты не от скуки садишься за карты? Все от скуки спасаются, как от чумы.

— Какое же ты жалкое лекарство выбрал от скуки — переливать из пустого в порожнее с женщиной: каждый день одно и то же!

¹ Интимные ужины (фр.).

² Образ жизни (фр.).

— А в картах разве не одно и то же! А вот ты прячешься в них от скуки...

— Ну нет, не одно и то же: какой-то англичанин вывел комбинацию, что одна и та же сдача карт может повториться лет в тысячу только... А шансы? А характеры игроков, манера каждого, ошибки?.. Не одно и то же! А вот с женщиной биться зиму и весну! Сегодня, завтра... вот этого я не понимаю!

— Ты не понимаешь красоты: что же делать с этим? Другой не понимает музыки, третий живописи: это неразвитость своего рода.

— Да, именно — своего рода. Вон у меня в отделении служил помощником Иван Петрович: тот ни одной чиновнице, ни одной горничной проходу не дает, то есть красивой, конечно. Всем говорит любезности, подносит конфеты, букеты, он развиг, что ли?

— Оставим этот разговор, — сказал Райский, — а то опять оба на стену полезем, чуть не до драки. Я не понимаю твоих карт, и ты вправе назвать меня невеждой. Не суйся же и ты судить и рядить о красоте. Всякий по-своему наслаждается и картиной, и статуей, и живой красотой женщины: твой Иван Петрович так, я иначе, а ты никак, — ну и при тебе.

— Ты играешь с женщинами, как я вижу, — сказал Аянов.

— Ну играю, и что же? Ты тоже играешь и обыгрываешь почти всегда, а я всегда проигрываю... Что же тут дурного?

— Да, Софья Николаевна красавица, да еще богатая невеста: женись, и конец всему.

— Да — и конец всему, и начало скуке! — задумчиво повторил Райский. — А я не хочу конца. Успокойся, за меня бы ее и не отдали!

— Тогда, по-моему, и ходить незачем. Ты просто — Дон Жуан!

— Да, Дон Жуан, пустой человек: так, что ли, по-вашему?

— А как же: что ж он, по-твоему?

— Ну, так и Байрон, и Гёте, и куча живописцев, скульпторов — все были пустые люди.

— Да ты — Байрон или Гёте, что ли?..

Райский с досадой отвернулся от него.

— Донжуанизм — то же в людском роде, что донкихотство: еще глубже; эта потребность еще прирожденнее... — сказал он.

— Коли потребность — так женись... я тебе говорю...

— Ах! — почти с отчаянием произнес Райский. — Ведь жениться можно один, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой так, как бы наслаждался красотой в статуе? Дон Жуан наслаждался прежде всего эстетически этой потребностью, но грубо: сын своего века, воспитания, нравов, он увлекался за пределы этого поклонения — вот и все. Да что толковать с тобой!

— Коли не жениться, так незачем и ходить, — апатично повторил Аянов.

— А знаешь — ты отчасти прав. Прежде всего скажу, что мои увлечения всегда искренни и неумышленны: это не волокитство — знай однажды навсегда. И когда мой идол хоть одной чертой подходит к идеалу, который фантазия сейчас создает мне из него, — у меня само собою доделается остальное и тогда возникает идеал счастья, семейного...

— Вот видишь; ну так и женись... — заметил Аянов.

— Погоди, погоди: никогда ни один идеал не доживал до срока свадьбы: бледнел, падал, и я уходил охлажденный... Что фантазия создает, то анализ разрушает, как картонный домик. Или сам идеал, не дождавшись охлаждения, уходит от меня...

— А все-таки каждый день сидеть с женщиной и болтать!.. — упрямо твердил Аянов, покачивая головой. — Ну о чем, например, ты будешь говорить хоть сегодня? Чего ты хочешь от нее, если ее за тебя не выдадут?

— И я тебя спрошу: чего ты хочешь от ее теток? Какие карты к тебе придут? Выиграешь ты или проиграешь? Разве ты ходишь с тем туда, чтоб выиграть все шестьдесят тысяч дохода? Ходишь поиграть — и выиграть что-нибудь...

— У меня никаких расчетов нет: я делаю это от... от... для удовольствия.

— От... от скуки — видишь, и я для удовольствия — и тоже без расчетов. А как я наслаждаюсь красотой, ты и твой Иван Петрович этого не поймете, не во гнев тебе и ему — вот и все. Ведь есть же одни, которые молятся страстно, а другие не знают этой потребности, и...

— Страстно! Страсти мешают жить. Труд — вот одно лекарство от пустоты: дело, — сказал Аянов внушительно.

Райский остановился, остановил Аянова, ядовито улыбнулся и спросил:

— Какое дело, скажи, пожалуйста: это любопытно!

— Как какое? Служи.

— Разве это дело? Укажи ты мне в службе, за немногими исключениями, дело, без которого бы нельзя было обойтись?

Аянов засвистал от удивления.

— Вот тебе раз! — сказал он и поглядел около себя. — Да вот! — Он указал на полицейского чиновника, который упорно глядел в одну сторону.

— А спроси его, — сказал Райский, — зачем он тут стоит и кого так пристально высматривает и выжидает? Генерала! А нас с тобой не видит, так что любой прохожий может выгащить у нас платок из кармана. Ужели ты считал делом твои бумаги? Не будем распространяться об этом, а скажу тебе, что я, право, больше делаю, когда мажу свои картины, бренчу на рояле и даже когда поклоняюсь красоте...

— И что особенного, кроме красоты, нашел ты в своей кузине?

— Кроме красоты! Да это все! Впрочем, я мало знаю ее: это, вместе с красотой, и влечет меня к ней...

— Как, каждый день вместе, и мало знаешь?..

— Мало. Не знаю, что у нее кроется под этим спокойствием, не знаю ее прошлого и не угадываю ее будущего. Женщина она или кукла, живет или подделывается под жизнь? И это мучит меня... Вон, смотри, — продолжал Райский, — видишь эту женщину?

— Ту толстую, что лезет с узлом на извозчика?

— Да, и вот эту, что глядит из окна кареты? И вон ту, что заворачивает из-за угла навстречу нам?

— Ну, так что же?

— Ты на их лицах мельком прочтешь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признак воли: ну, словом, — движение, жизнь. Немного нужно, чтоб подобрать ключ и сказать, что тут семья и дети, значит, было прошлое, а там глядит страсть или живой след симпатии, — значит, есть настоящее, а здесь на молодом лице играют надежды, просятся наружу желания и пророчат беспокойное будущее...

— Ну?

— Ну, везде что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на нее... А там ничего этого нет, ничего, хоть шаром покати! Даже нет апатии, скуки, чтоб можно было сказать: была жизнь и убита, — ничего! Сияет и блеснит, ничего не просит

и ничего не отдает! И я ничего не знаю! А ты удивляешься, что я бьюсь?

— Давно бы сказал мне это, и я удивляться перестал бы, потому что я сам такой, — сказал Аянов, вдруг останавливаясь. — Ходи ко мне, вместо нее...

— Ты?

— Да — я!

— Что же ты, красотой блистаешь?..

— Блистаю спокойствием и наслаждаюсь этим; и она тоже...

Что тебе за дело?..

— До тебя — никакого, а она — красота, красота!

— Женись, а не хочешь или нельзя, так оставь, займись делом...

— Ты прежде заведи дело, в которое мог бы броситься живой ум, гнушающийся мертвечины, и страстная душа, и укажи, как положить силы во что-нибудь, что стоит борьбы, а с своими картами, визитами, раутами и службой — убирайся к черту!

— У тебя беспокойная натура, — сказал Аянов, — не было строгой руки и тяжелой школы — вот ты и куролесишь... Помнишь, ты рассказывал, когда твоя Наташа была жива...

Райский вдруг остановился и, с грустью на лице, схватил своего спутника за руку.

— Наташа! — повторил он тихо, — это единственный, тяжелый камень у меня на душе — не мешай память о ней в эти мои впечатления и мимолетные увлечения...

Он вздохнул, и они молча дошли до Владимирской церкви, свернули в переулок и вошли в подъезд барского дома.

II

Райский с год только перед этим познакомился с Софьей Николаевной Беловодовой, вдовой на двадцать пятом году, после недолгого замужества с Беловодовым, служившим по дипломатической части.

Она была из старинного богатого дом Пахотиных. Матери она лишилась еще до замужества, и батюшка ее, состоявший в полном распоряжении супруги, почувствовав себя на свободе, вдруг спохватился, что молодость его рано захвачена была женьтибой и что он не успел пожить и пожуировать.

Он повел было жизнь холостяка, пересиливал годы и природу, но не пересилил и только смотрел, как ели и пили другие, а у него желудок не варил. Но он уже успел нанести смертельный удар своему состоянию.

У него, взамен наслаждений, которыми он пользоваться не мог, явилось старческое тщеславие иметь вид шалуна, и он стал вознаграждать себя за верность в супружестве сумасбродными связями, на которые быстро ушли все наличные деньги, брильянты жены, наконец, и большая часть приданого дочери. На недвижимое имение, и без того заложенное им еще до женитьбы, росли значительные долги.

Когда источники иссякли, он изредка, в год раз, иногда два, делает дорогую шалость, купит брильянты какой-нибудь Агмансе, экипаж, сервиз, ездит к ней недели три, провожает в театр, делает ей ужины, сзывает молодежь, а потом опять смолкнет до следующих денег.

Николай Васильевич Пахотин был очень красивый сановитый старик, с мягкими, почтенными сединами. По виду его прирешь за какого-нибудь Пальмерстона.

Особенно красив он был, когда с гордостью вел под руку Софью Николаевну куда-нибудь на бал, на общественное гулянье. Не знавшие его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потом фамильярно и шуточно трясти его за руку, звали устроить веселый обед, рассказывали на ухо приятную историю...

Старик шутил, рассказывал сам направо и налево анекдоты, говорил каламбуры, особенно любил с сверстниками жить воспоминаниями минувшей молодости и своего времени. Они с восторгом припоминали, как граф Борис или Денис проигрывал кучи золота; терзались тем, что сами тратили так мало, жили так мизерно; поучали внимательную молодежь великому искусству жить.

Но особенно любил Пахотин уноситься воспоминаниями в Париж, когда в четырнадцатом году русские явились великодушными победителями, перещеголявшими любезностью тогдашних французов, уже попорченных в этом отношении революцией, и превосходившими безумным мотовством широкую щедрость англичан.

Старик шутя проживал жизнь, всегда смеялся, рассказывал только веселое, даже на драму в театре смотрел с улыбкой, любясь ножкой или лорнируя la gorge¹ актрисы.

Когда же наставало не веселое событие, не обед, не соблазнительная закулисная драма, а затрогивались нервы жизни, слышался в ней громовой раскат, когда около него возникал важный вопрос, требовавший мысли или воли, старик тупо недоумевал, впадал в беспокойное молчание и только учащенно жевал губами.

У него был живой, игривый ум, наблюдательность и некогда смелые порывы в характере. Но шестнадцати лет он поступил в гвардию, выучась отлично говорить, писать и петь по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипаж и тысяч двадцать дохода.

Никто лучше его не был одет, и теперь еще, в старости, он дает законы вкуса портному; все на нем сидит отлично, ходит он бодро, благородно, говорит с уверенностью и никогда не выходит из себя. Судит обо всем часто наперекор логике, но владеет софизмом с необыкновенною ловкостью.

С ним можно не согласиться, но сбить его трудно. Свет, опыт, вся жизнь его не дали ему никакого содержания, и оттого он боится серьезного как огня. Но тот же опыт, жизнь всегда в куче людей, множество встреч и способность знакомиться со всеми образовывали ему какой-то очень приятный, мелкий умок, и не знающий его с первого раза даже положится на его совет, суждение и потом уже, жестоко обманувшись, разглядит, что это за человек.

Он не успел еще окунуться в омут опасной, при праздности и деньгах, жизни, как на двадцать пятом году его женили на девушке красивой, старого рода, но холодной, с деспотическим характером, сразу угадавшей слабость мужа и прибравшей его к рукам.

Теперь Николай Васильевич Пахотин заседает в каком-то совете раз в неделю, имеет важный чин, две звезды и томительно ожидает третьей. Это его общественное значение.

Было у него другое ожидание — поехать за границу, то есть в Париж, уже не с оружием в руках, а с золотом, и там пожить, как живали в старину.

¹ Грудь (фр.).

Он с наслаждением и завистью припоминал анекдоты времен революции, как один знатный повеса разбил там чашку в магазине и в ответ на упреки купца перебил и переломал еще множество вещей и заплатил за весь магазин; как другой перекупил у короля дачу и подарил танцовщице. Оканчивал он рассказы вздохом сожаления о прошлом.

Вскоре после смерти жены он было попросился туда, но образ его жизни, нравы и его затеи так были известны в обществе, что ему, в ответ на просьбу, коротко отвечено было: «Незачем». Он пожевал губами, похандрил, потом сделал какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. После того, уже промотавшись окончательно, он в Париж не порывался.

Кроме томительного ожидания третьей звезды, у него было еще постоянное дело, постоянное стремление, забота, куда уходили его напряженное внимание, соображения; вся его тактика, с тех пор как он промотался, — это извлекать из обеих своих старших сестер, пожилых девушек, теток Софьи, денежные средства на шалости.

Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пахотины, хотя были скупы и не ставили собственно личность своего братца в грош, но дорожили именем, которое он носил, репутацией и важностью дома, преданиями, и потому, сверх определенных ему пяти тысяч карманных денег, в разное время выдавали ему субсидии около такой же суммы, и потом еще, с выговорами, с наставлениями, чуть не с плачем, всегда к концу года платили почти столько же по счетам портных, мебельщиков и других купцов.

Они знали, на какое употребление уходят у него деньги, но на это они смотрели снисходительно, помня нестрогие нравы повес своего времени и находя это в мужчине естественным. Только они, как нравственные женщины, затыкали уши, когда он захочет похвастаться перед ними своими шалостями или когда кто другой вздумает довести до их сведения о каком-нибудь его сумасбродстве.

Он был в их глазах пустой, никуда не годный, ни на какое дело, ни для совета, — старик и плохой отец, но он был Пахотин, а род Пахотиных уходит в древность, портреты предков занимают всю залу, а родословная не укладывается на большом столе, и в роде их было много лиц с громким значением. Они гордились этим и прощали брату все, за то только, что он Пахотин.

Сами они блистали некогда в свете и по каким-то, кроме их, всеми забытым причинам остались девами. Они уединились в родовом доме и там, в семействе женатого брата, доживали старость, окружив строгим вниманием, попечениями и заботами единственную дочь Пахотина, Софью. Замужество последней расстроило было их жизнь, но она овдовела, лишилась матери и снова, как в монастырь, поступила под авторитет и опеку теток.

Они были две высокие седые, чинные старушки, ходившие дома в тяжелых шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со многими перстнями.

Надежда Васильевна страдала тиком и носила под чепцом бархатную шапочку, на плечах бархатную, подбитую горностаем кацавейку, а Анна Васильевна сырцовые букли и большую шаль.

У обеих было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны высокая золотая табакерка, около нее несколько носовых платков и моська, старая, всегда заspanная, хрипящая и от старости не узнающая никого из домашних, кроме своей хозяйки.

Дом у них был старый, длинный, в два этажа, с гербом на фронте, с толстыми, массивными стенами, с глубокими окошками и длинными простенками.

В доме тянулась бесконечная анфилада обитых штофом комнат; темные тяжелые резные шкафы, с старым фарфором и серебром, как саркофаги, стояли по стенам с тяжелыми же диванами и стульями рококо, богатыми, но жесткими, без комфорта. Швейцар походил на Нептуна; лакеи пожилые и молчаливые, женщины в темных платьях и чепцах. Экипаж высокий, с шелковой бахромой, лошади старые, породистые, с длинными шеями и спинами, с побелевшими от старости губами, при езде крупно кивающие головой.

Комната Софьи смотрела несколько веселее прочих, особенно когда присутствовала в ней сама хозяйка: там были цветы, ноты, множество современных безделок.

Еще бы немного побольше свободы, беспорядка, света и шума — тогда это был бы свежий, веселый и розовый приют, где бы можно замечаться, зачитаться, заиграться и, пожалуй, залюбиться.

Но цветы стояли в тяжелых старинных вазах, точно надгробных урнах, горка массивного старого серебра придавала еще больше античности комнате. Да и тетки не могли видеть беспорядка: чуть цветы раскнуты в вазе прихотливо, входила Анна

Васильевна, звонила девушку в чепце и приказывала собрать их в симметрию.

Если оказывалась книга в богатом переплете лежащею на диване, на стуле — Надежда Васильевна ставила ее на полку; если западал слишком вольный луч солнца и играл на хрустале, на зеркале, на серебре — Анна Васильевна находила, что глазам больно, молча указывала человеку пальцем на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая завеса мерно падала с петли и закрывала свет.

Зато внизу, у Николая Васильевича, был полный беспорядок. Старые предания мешались там с следами современного комфорта. Подле тяжелого буля стояла откидная кушетка от Гамбса, высокий готический камин прикрывался ширмами с картинами фоблазовских нравов, на столах часто утро заставало остатки ужина, на диване можно было найти иногда женскую перчатку, ботинку, в уборной его — целый магазин косметических снадобьев.

Как тихо и молчаливо было наверху, так внизу слышались часто звонкие голоса, смех, всегда было там живо, беспорядочно. Камердинер был у него француз, с почтительной речью и наглым взглядом.

III

Много комнат прошли Райский и Аянов, прежде нежели добрались до жилья, то есть до комнат, где сидели обе старухи и Софья Николаевна.

Когда они вошли в гостиную, на них захрипела моська, но не смогла полаять и, повертевшись около себя, опять улеглась.

Анна Васильевна кивнула им, а Надежда Васильевна, в ответ на поклоны, ласково поглядела на них, с удовольствием высморкалась и сейчас же понюхала табак, зная, что у ней будет партия.

— Ma cousine!¹ — сказал Райский, протянув руку Беловой.

Она поклонилась с улыбкой и подала ему руку.

— Позвони, Sophie, чтобы кушать давали, — сказала старшая тетка, когда гости уселись около стола.

¹ Кузина! (фр.)

Софья Николаевна поднялась было с места, но Райский предупредил ее и дернул шнурок.

— Скажи Николаю Васильевичу, что мы садимся обедать, — с холодным достоинством обратилась старуха к человеку. — Да кушать давать! Ты что, Борис, опоздал сегодня: четверть шестого! — упрекнула она Райского.

Он был двоюродным племянником старух и троюродным братом Софьи. Дом его, тоже старый и когда-то богатый, был связан родством с домом Пахотиных. Но познакомился он с своей родней не больше года тому назад.

В этом он виноват был сам. Старухи давно уже, услышав его фамилию, осведомлялись, из тех ли он Райских, которые происходили тогда-то от тех-то и жили там-то.

Он знал об этом, но притаился и пропустил этот вопрос без внимания, не находя ничего занимательного знакомиться с скучным, строгим, богатым домом.

Сам он был не скучен, не строг и не богат. Старину своего рода он не ставил ни во что, даже никогда об этом не помнил и не думал.

Остался он еще в детстве сиротой, на руках равнодушного, холостого опекуна, а тот отдал его сначала на воспитание родственнице, приходившейся двоюродной бабушкой Райскому. Она была отличнейшая женщина по сердцу, но далее своего уголка ничего знать не хотела, и там, в тиши, среди садов и роц, среди семейных и хозяйственных хлопот маленького размера провел Райский несколько лет, а чуть подрос, опекун поместил его в гимназию, где окончательно изгладились из памяти мальчика все родовые предания фамилии о прежнем богатстве и родстве с другими старыми домами.

Дальнейшее развитие, занятия и направление еще более отвели Райского от всех преданий старины.

И он не спешил сблизиться с своими петербургскими родными, которые о нем знали тоже по слуху. Но как-то зимой Райский однажды на балу увидел Софью, раза два говорил с нею и потом уже стал искать знакомства с ее домом. Это было всего легче сделать через отца ее: так Райский и сделал.

Он знал одну хорошенькую актрису и на вечере у нее ловко подделался к старику, потом подарил ему портрет этой актрисы своей работы, напомнил ему о своей фамилии, о старых связях и скоро был представлен старухам и дочери.

Он так обворожил старух, являясь то робким, покорным мудрой старости, то живым, веселым собеседником, что они скоро перешли на *ты* и стали звать его *mon neveu*¹, а он стал звать Софью Николаевну кузиной и приобрел степень короткости и некоторые права в доме, каких постороннему не приобрести во сто лет.

Но все-таки он еще был недоволен тем, что мог являться по два раза в день, приносить книги, ноты, приходиться обедать запросто. Он привык к обществу новых современных нравов и к непринужденному обхождению с женщинами.

А Софья мало оставалась одна с ним: всегда присутствовала то одна, то другая старуха; редко разговор выходил из пределов текущей жизни или родовых воспоминаний.

А если затрогивались вопросы живые, глубокие, то старухи тоном и сентенциями сейчас клали на всякий разговор свою патентованную печать.

Райский между тем стгорал желанием узнать не Софью Николаевну Беловодову — там нечего было узнавать, кроме того, что она была прекрасная собой, прекрасно воспитанная, хорошего рода и тона женщина, он хотел отыскать в ней просто женщину, наоблести и определить, что кроется под этой покойной, неподвижной оболочкой красоты, сияющей ровно, одинаково, никогда не бросавшей ни на что быстрого, жаждущего, огненного или, наконец, скучного, утомленного взгляда, никогда не обмолвившейся нетерпеливым, неосторожным или порывистым словом?

Но она в самом деле прекрасна. Нужды нет, что она уже вдова, женщина; но на открытом, будто молочной белизны белом лбу ее и благородных, несколько крупных чертах лица лежит девическое, почти детское неведение жизни.

Она, кажется, не слыхала, что есть на свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств, доводящие до проклятий, стирающие это сияние с лица.

Большие серо-голубые глаза полны ровного, немерцающего горения. Но в них теплится будто и чувство; кажется, она не бессердечная женщина.

Но какое это чувство? Какого-то всеобщего благоволения, доброты ко всему на свете, — такое чувство, если только это чув-

¹ Племянником (*фр.*).

ство, каким светятся глаза у людей сытых, беззаботных, всем удовлетворенных и не ведающих горя и нужд.

Волоса у нее были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылке. Плечи и грудь поражали пышностью.

Цвет лица, плеч, рук — был цельный, свежий цвет, блистающий здоровьем, ничем не тронутым — ни болезнью, ни бедами.

Одевалась она просто, если разглядеть подробно все, что на ней было надето, но казалась великолепно одетой. И материя ее платья как будто была особенная, и ботинки не так сидят на ней, как на других.

Великолепной картиной, видением явилась она Райскому где-то на вечере в первый раз.

В другой вечер он увидел ее далеко, в театре, в третий раз опять на вечере, потом на улице — и всякий раз картина оставалась верна себе, в блеске и красках.

Напрасно он настойчивым взглядом хотел прочесть ее мысль, душу, все, что крылось под этой оболочкой: кроме глубокого спокойствия, он ничего не прочел. Она казалась ему все той же картиной или отличной статуей музея.

Все находили, что она образец достоинства строгих понятий, *comme il faut*¹, жалели, что она лишена семейного счастья, и ждали, когда новый Гименей наложит на нее цепи.

В семействе тетки и близкие старики и старухи часто при ней гадали ей, в том или другом искателе, мужа: то посланник являлся чаще других в дом, то недавно отличившийся генерал, а однажды серьезно поговаривали об одном старике, иностранце, потомке королевского, угасшего рода. Она молчит и смотрит беззаботно, как будто дело идет не о ней.

Другие находили это натуральным, даже высоким, *sublime*², только Райский — бог знает из чего, бился истребить это в ней и хотел видеть другое.

Она на его старания смотрела ласково, с улыбкой. Ни в одной черте никогда не было никакой тревоги, желания, порыва.

Напрасно он, слыша раздирающий вопль на сцене, быстро глядел на нее — что она? Она смотрела на это без томительного,

¹ Светскости (фр.).

² Возвышенным (фр.).

Гончаров И.

Г 65 Обрыв : роман / Иван Гончаров. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — 768 с. + вкл. (16 с.). — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-27776-2

«А скажите, Иван Александрович, отчего это все ваши сочинения начинаются непременно слогом „об“? — спросили однажды И. А. Гончарова, автора знаменитых романов «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Писатель ответил, что это только совпадение. Современники полагали иначе: книги считали трилогией, каждая часть которой описывала определенный этап в жизни России 1840–1860-х гг.

Гончаров работал медленно и сосредоточенно: между дебютным романом «Обыкновенная история» (который с восторгом встретили даже критики) и «Обломовым», признанным классикой вскоре после публикации, прошло двенадцать лет. Последний роман «Обрыв» писался еще дольше — двадцать лет. «Иначе и быть не могло, — рассуждал Гончаров. — Он писался, как тянулся период самой жизни». Предчувствия, тревоги и надежды людей этого времени описаны Гончаровым с удивительными полнотой и точностью, однако вечные вопросы о любви и предательстве, творчестве и таланте интересовали писателя не меньше.

После десяти лет, проведенных в столице, начинающий писатель Борис Райский возвращается в свою усадьбу. Здесь он убеждается в том, что «жизнь — роман, и роман — жизнь»: в тихом уголке на берегу Волги комедия и трагедия, идиллия и драма связаны теснее, чем в книгах, полных огня и страсти.

В этом издании воспроизводятся редкие иллюстрации к роману художника Петра Наумовича Пинкисевича (1925–2004).

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)1-44

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ

ОБРЫВ

Ответственный редактор Валерия Андоскина
Художественный редактор Виктория Манацкова
Технический редактор Валентина Дик
Компьютерная верстка Светланы Шведовой
Подготовка иллюстраций
Екатерины Мишиной, Дмитрия Кабакова
Корректор Валерий Камендо

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 14.01.2025.
Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆. Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Усл. печ. л. 48,02 (вкл. вклейку). Заказ №

Изготовитель: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» — обладатель товарного знака АЗБУКА®, 115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru	Өндіруші: «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» ЖШҚ — АЗБУКА® тауар белгісінің иесі, 115093, Мәскеу, қ. іш. аум. Даниловский муниципалдық округі, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в г. Санкт-Петербурге, 191024, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 12-14, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru	Санкт-Петербург қ. «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» ЖШҚ филиалы, 191024, Санкт-Петербург, Херсон көшесі, 12-14 үй, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru Отпечатано в России.	www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)



Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-ARL-36798-01-R